



1997 №29

Фила не оказалось дома. Он всегда меня выручал. По проверенным слухам Фил самый крутой рекламный агент в этом городе. Вдавив пуговку звонка, я прислонился к стене. Дом, где жил самый крутой рекламный агент построили еще до революции, он накренился как корабль. Обшивку этого галеона хлестали дожди и ветра, тысячи бродячих собак здесь стояли, задумчиво лапу подняв, дети бегали, превращаясь незаметно и быстро в мужчин и женщин, а дом склонял голову, глядя им вслед. Я стою, прислонясь к его борту щекой и плечом. Звонить больше нет смысла. Оттолкнувшись от дома, еще надеясь, отплываю медленно, обирачуясь, как пловец оглядываюсь на этот остров.

Серега Француз живет у черта на куличках. На этих самых куличках всегда ветрено, одно слово "Приволжский"... Он кормил свою псину, нерху и добряка ризеншнауцера Портоса, когда я ввалился. Бузнос диос, сказал Серега, бузнос диос, - говорю, ветреный диос однако. Серега получил свое прозвище за умение говорить, матерились, думать, шутить, флиртовать на четырех языках. Портос доедает колбасу. Я всегда прихожу, когда все уже заканчивается. Пес облизывается удовлетворенно и широко, подходит и заглядывает в глаза. Я глажу его свалившийся загривок. Я вдыхаю запах колбасы: Портос машет обрубком хвоста. Его хвост напоминает рукоятку, за нее удобно держаться. Схватить бы Портоса сытого за эту рукоятку и раскрутить над головой, а потом мощным рывком послать неуклюжее тело в открытое окно. Вот бы он удивился.. Вот бы птички со скрипом затормозили бы в воздухе, увидев летающую собаку. Эй, толкает Серега, мечтатель-живодер, не просверли в Портосе дырку глазами! В нем не просверлишь, отвечаю, жирный он, как борова откормил. Серега смеется. Завидно?! Я молчу. Я все стерплю. Мне нужно немного денег. А потом обязательно встречу незнакомца. И спляшу на туче джигу. Это будет танец, уверяю вас!

На углу Красноармейской и Арцыбухи в сквере я падаю на свободную от плевков и голубиного дерья скамейку. Ноги гудели, как колокола. Становилось прохладно, сумерки затянули лужи тонкой кожей льда. Мою руку грел букет. Три чебурека, рослые как гренадеры, выпятив грудь с начинкой прижались плечами в моей руке. Даже если там окажутся черви, или когти вампира, подумал я, все равно я с наслаждением вас съем, предупреждаю их вежливо и приступаю.

Когда стемнело окончательно, я возвращался с охоты. В заднем кармане джинсов лежал тугой толстый рулет тысячных. Я потрогал пять дней своей жизни и вышел из трамвая.

Знакомые протягивали деньги с удивительной готовностью, иногда через сквозные пропеллы, я не успевал произнести магические слова, как бумажки оказывались перед моим лицом. Я все понимал. Видимо, этот тип со злобным лицом неудачника их тревожил. И зачем он опять на горизонте? Для чего из норы своей вылез? Что у него на уме? Уж лучше дать денег. У последней жертвы это было написано на изрядно расплывшемся лице. Теперь он протирает не джинсы, а кашемировые брюки, и не у Димана в нетопленой комнате, а на офисном диване в банке. Спускаясь, я останавливается от скрежета и лязга замков, которыми от меня закрывались. Вы сами задраили люки, теперь дело за мной, думал я и, стражнувшись пепел с монте-карлины, выходит из подъездов в весну.

На другой день ноги ведут к Маленькой Французской революции. Ее зовут Софья. Эта девушка распространяет вокруг себя тайну. Излучает тревогу. Мужики кратковременно сходят с ума от нее. Потом возвращаются в свои семьи обновленными. Софья жалеет этих никак не желающих взросльеть детей. Один бизнесмен в порыве страсти ножом превратил свои брюки в шорты прямо на пляже. Во имя твоего, говорит и режет. Это было и грустно и смешно, когда они ввалились ко мне на Арцыбушевскую, протрезвевший здоровенный мужик и маленькая Софья, похудевшая за двое суток сплошными истерик этого довольно туповатого, безобидного младенца. Мы еле утолкли его двухметрового, Софья так вымоталась, что согласилась на колыбельную, лишь бы заснула. Я что-то подготовил поесть и ушел побродить под утро. А когда вернулся, младенец уже умчался на такси в аэропорт. В обед он летел в Лондон. А перед тем, как покинуть пределы России, он зачем-то решил побрить бороду. Совсем чирикнулся, улыбаясь, говорит Софья, электрической бритвой. Мы хохочем, представляешь, говорю, сходит туманным полднем в лондонском аэропорту это двухметровое чудо. Клокастая дикая борода, шорты, взгляд похмельно блуждает. Джентльмены под зонты опускают глаза деликатно. Мы хохочем. Когда Софья заснула, я проветрил комнату, и сел немного порисовать. Подняв глаза, увидел ее маленькие руки под красивой головой, во сне Маленькая революция морщила нос, дерзкий, непослушный. У этой девчонки красивые руки, с коготками, она может постоять за себя. У Маленькой революции могут быть только такие руки. И только такие глаза, золотисто-зеленые, отчаянные.

Бывает мы с ней ругаемся, потом следует бурное примирение. И всегда есть наши долгие быстрые ночи. В сущности, мы очень похожи. Только она еще совсем юная революция, полевой цветочек с левого берега Волги.

Спускаюсь в метро с мыслью о незнакомце. Вторая попытка, думаю, все положено, на третий раз произойдет. В вагоне пусто, мы уходим под землю все глубже и летим в темноте. На конечной состав выныривает из-под земли, как дельфин. Это всегда неожиданно. Приходится на секунду закрывать глаза, иначе ослепнешь. Стук колес теперь глушше, плавно плывешь в синеве неба. В кем-то закрытую форточку влетают запахи талого снега и согревшейся земли. Еще мой нос ловит запах тревоги. Это не дает усидеть на месте. Взвинченный начинаю ходить по вагону. Наконец, состав плавно входит в пазы перрона; перед тем, как выйти, оглядываюсь. На сиденье еще угадываются очертания меня. Говорю очертаниям "пока" и выхожу.

В подъезде, где живет Софья, установили железную дверь с паролем. Барабаню в холодное железо, заклиная чтоб кто-нибудь вышел. Пусть придет кому-нибудь в голову погулять или, по крайней мере, мусор выбросить. Никто не выходит. Такая забота жильцов о собственной безопасности смешна и понятна мне. Но мир внешний, из которого я взываю сейчас, не переменится, не станет лучше, светлее.

И рано или поздно в него нужно выходить. Наконец, когда дверь открылась, я увидел милую зеленоглазую бестию, а она меня - мы обнялись. Положив голову друг другу на плечи, стоим как лошадки.

Двадцатидвухлетнее сердце ее толкается, как ребенок в мою кожанку. Одновременно отпускаем друг друга и молча друг на друга смотрим. Отпустила волосы, отмечая я. Здорово, что ты все-таки появился, говорит Софья, моло-дец, я собралась за лимонами, а тут ты. Здорово! Пошли, говорю, за витамином "С", чтобы не было морщин на лице. И мы идем за лимонами по талому снегу, отражаясь в витринах медленно, и в лужах быстрее, по черному снегу, по грязному снегу Юнгородка, а внутри нас качается небо, и в походке - танец.

Мы добыли лимоны, и даже букет вербы. Женщина обрадовалась нам как родным, приговаривала, завязывая вербу, какие молодые, красota, все у вас впереди!

В темном непредсказуемом лифте я нашел руку Маленькой революши. Она была по-весеннему прохладна. И верба склонилась из темноты, и дотронулась до щеки моей.

Открыл глаза, я слышу рычанье. Долгий, раскатистый рык с вывертами. Это кричат киты. У них свадьба. Какие-то люди подслушали. Самцы ухают, рыкают раскатисто, а самки скромно помалкивают. Я вспомнил, как прочитал однажды в компании пьяной статейку в газете. Маленькая колонка, интервью с японским рыбаком. Троек суток пролежал как зародыш в брюхе огромной акулы. Он рассказывал, что стоило только осознать где находишься, как тут же теряешь сознание. Этот маленький Иона от влажной жары в акульем желудке потерял все волосы. На снимке улыбчивый круглоголовый японец. Возраст невозможен определить. Я мигом пропретрел. Локтями и спиной ощущал мокрый горячий рыбий желудок. Я представил себе то, что под нами с акулой, ту бездну, тонны воды над головой, понял и этого японца, и бедолагу Иону. Пролежав немного среди китовой свадьбы, извинившись перед ними, я всплыл. На кухне Софья и ее мама готовили завтрак. Они говорили тихо, не хотели меня будить, пусть высится, отдохнет Диман. Слыши, смеются, запах жареной рыбы, нож ложится на стол. Слишком долго ты, Диман, не выползал к людям, сентиментальный стал. Открывается дверь, я отворачиваюсь к стене. Вставай-поднимайся, Дима, говорит Софьина мама, жизнь начинается, солнце уже проснулось. Чувствуя по голосу, что она улыбается. Уходит, и я просыпаюсь окончательно. В этом доме у меня есть походная пастель. Если есть "раскладушка", то эта - "раскатушка". Скатываю ее по солдатски, как плащ-палатку, и прячу в шкаф. До будущих походов. Распахиваю форточку, напрягаю по очереди, а потом сразу все мышцы своего еще зимнего тела. Я дышу полной грудью до темноты в глазах. И только выдохнув весь воздух до дна, пробираюсь в ванную. Потом мы завтракаем. Золотистый кусок судака как слиток. Он пропитан солницем и соусом. Он источает запах библейской пустыни. Мы молча вдыхаем. Мы священномействуем.

Когда приступаю к кофе, замечаю, как Софьина мама печальна. Она острит, смеется, но под этим лежит печаль. Она превозмогает себя, я подыгрываю, на секунду все забыто, мы смеемся, хохочем, как будто впервые после долгой ледяной зимы вошли в реку все вместе. Софья уходит перевернуть кассету, я спрашиваю: "Что-то случилось?" Да не то, чтобы случилось, говорит мама Софьи задумчиво, просто все мы оказались рабами.

- Ты про митинг, мам,- возвращается Софья. Она входит одновременно с первыми звуками лютни. "Зеленые рукава", песня бродяг, щемящие-открытая. Маленькая революция терпеть не может всякого рода скопления человеческих тел. - Ненавижу толпу - на ноги, на руки, на сердце наступят - не заметят. Траву истопчут, асфальт заплюют, митинг называется. Сейчас вернусь, говорит, склоняя на угол позвоню. И уходит, накинув элегантное свое бархатное пальто. А мы с ее матерью остаемся. Проходят стены бродяги-кельты с песней, мама Софьи поправляет свои темные, гладкие, испанские волосы, ее руки как будто моют гроздь крупного винограда в ручье, и я смотрю на нее. Она похожа на усталую богиню. Морщинки у губ и глаз, много смеялась, много плакала усталая богиня. Я закуриваю, солнце нас заливает, звук ее голоса, рассказывающий о том, как рабочие, студенты, безработные и бродяги собрались сегодня рано утром, в тумане, и огромная эта масса колонной молча полилась с Комсомольской площади в город. О том, как строго и сдержанно шли анархисты под черным своим полотнищем, как шагали серьезные детишки, засунув от сильного ветра с Волги руки в рукава пальтишек. О том, как им запретили раньше времени подойти к резиденции губернатора, а потом, когда мрачная толпа все-таки вошла на площадь, откуда-то возникли юркие, неуловимые люди, с неприметными лицами и начали мужиков уговаривать пивом, играть на гармошках. О том, как одна женщина, крикнула, что они сюда не танцевать пришли, а губернатор не снегурочка, чтобы хором его вызывать. О том, как солдаты охраны смотрели в окна, прилипнув испуганными детскими лицами к толстым стеклам. О том, как пришла только одна шестая из тех, кто хотел. О том, как разошлись потом поодиночке. О том, что взявшись по настояющему за руки, невозможно проиграть.

Я смотрю. Я слушаю. Этот митинг сам губернатор и заказал, чтобы пары выпустить. Я молчу и слушаю эту усталую богиню. Вдруг оказывается, что Софья уже давно вернулась и слушает, смотрит на мать, не перебивая. А потом мы молчим. Внутри нас что-то прорастает. Скоро это расцветет. Мы молчим. Эх, так нам и надо, говорит тихо Софьина мама. Мы молчим с Маленькой революцией. Поднимая голову, и встречаюсь взглядом, протягиваю невидимые руки и встречаю руки усталой богини. Над головой Маленькой революции мы отдаем друг другу руки. И это захлестывает меня. Девочки, шепчу я, девочки мои любимые, я сажусь между ними, обнимаю за плечи. Девочки, надо перевернуть это все! Любимые, сильные девочки! Я задумал кое-что покруче! Я шепчу, обнимаю и склоняюсь над ними...